

Смирительная рубашка. Когда боги смеются

«Смирительная рубашка», малоизвестное нашему читателю произведение Джека Лондона, является жемчужиной его творческого наследия.

Даррел Стэндинг, профессор агрономии, в порыве ревности убивает коллегу. Ему, кабинетному ученому, предстоит пройти через все ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух человека выше его плоти, и Стэндинг покинул свое тело, затянутое в «смирительную рубашку», и стал межзвездным скитальцем. Он вспомнил все свои предыдущие воплощения, каждое из которых - это увлекательный, захватывающий роман...

ДЖЕК ЛОНДОН

СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА



КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ



Джек Лондон

**Смирительная рубашка. Когда боги
смеются**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное
оформление, 2008, 2011

ISBN 978-966-14-2554-4 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Л76 Лондон Дж. Собр. соч. [Текст] / научн. ред. и коммент. канд. филол. наук доцента А. М. Гуторова ; худож. А. Печенежский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2008.

Т. 10 : Роман и рассказы. — 416 с. : ил. — Содерж.: Смирительная рубашка : роман ; Когда боги смеются : рассказы.

ISBN 978-966-14-0090-9 (Украина, т. 10).

ISBN 978-966-343-752-1.

ISBN 978-5-9910-0550-0 (Россия, т. 10).

ISBN 978-5-9910-0170-0.

«Смирительная рубашка», малоизвестное нашему читателю произведение Джека Лондона, является жемчужиной его творческого наследия.

Даррел Стэндинг, профессор агрономии, в порыве ревности убивает коллегу. Ему, кабинетному ученому, предстоит пройти через все ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух человека выше его плоти, и Стэндинг покинул свое тело, затянутое в «смирительную рубашку», и стал межзвездным скитальцем. Он вспомнил все свои предыдущие воплощения, каждое из которых — это увлекательный, захватывающий роман...

«Гамівна сорочка», маловідомий нашому читачеві твір Джека Лондона, є перлиною його творчого доробку.

Даррел Стендінг, професор агрономії, у нападі ревнощів вбиває колегу. Він, кабінетний учений, має пройти крізь усі жахіття каліфорнійської в'язниці. Але дух людини вищий за її плоть, і Стендінг полишив своє тіло, зтягнуте в «гамівну сорочку», і став зоряним мандрівником. Він згадав усі свої попередні втілення, кожне з яких — це захопливий роман...

ББК 84.7США

Смирительная рубашка

Глава I

Всю свою жизнь я хранил память о других временах и местах, о существовании в облике других людей. И поверь мне, читатель, то же было и с тобой. Оглянись на свое детство, и ты вспомнишь то чувство, о котором я говорю. В то время еще не сформировалась твоя личность: твоя душа была гибкой и изменчивой, самосознание находилось в процессе становления — да, становления и забвения.

Ты многое забыл, и теперь, читая эти строки, ты начинаешь смутно различать неясные образы других времен и мест, на которые некогда взирал твой детский взгляд. Теперь тебе это кажется сном. Но если это был сон, откуда же взялось его содержание? Ведь наши сны — это причудливая комбинация наших дневных впечатлений, результат нашего опыта. Ребенком, крошечным ребенком, ты падал во сне с высоких гор, летал по воздуху, как птица, пугался отвратительных пауков и многоногих болотных тварей; ты слышал какие-то голоса, смутно видел некие образы, странно знакомые, и созерцал восход и закат солнца, каких — теперь ты знаешь это — с тех пор и не видел. Прекрасно. Это детские проблески воспоминаний о других мирах, о том, чего ты никогда не знал в этом мире, в этой жизни. В таком случае, откуда они? Из других жизней? Из других миров? Может быть, когда ты прочтешь все, что я написал, ты получишь ответ на те странные вопросы, что я задал тебе сейчас, да и ты сам наверняка задавал себе их еще до того, как прочел эти строки.

Вордсворт знал об этом. Он не был ни пророком, ни провидцем, но самым обыкновенным человеком, как ты или кто-нибудь другой. Что было известно ему, известно и тебе, и всякому. Но он сумел очень точно сказать об этом в своей статье, начинающейся словами: «Не полностью сознав и не совсем забыв»...

Действительно, новорожденный словно бы вступает во мрак темницы и слишком скоро забывает все. И однако в начале жизни все мы помнили другие времена и места. Беспомощные грудные младенцы или ползающие, как животные, на четвереньках, мы летали во сне. Действительно, нас терзали ночные кошмары, мы испытывали страх и жестокие страдания. Едва появившись на свет и не имея никакого опыта, мы уже знали о страхе, помнили о страхе, а *воспоминание — опыт*.

Что касается меня, то еще не умея говорить и лишь криком сообщая о том, что я голоден или хочу спать, я уже знал, что являюсь мечтателем-скитальцем. Да, я, еще ни разу не произнесший слова «король», помнил, что когда-то был сыном короля. Более того, я помнил, что был когда-то рабом и сыном раба и носил на шее железный обруч.

Но это еще не все. В возрасте трех-пяти лет я был совсем не собой. Я только становился собой, моя душа еще не вполне вылилась в форму моего настоящего тела, живущего в настоящем времени и месте. В этот период все, чем я был в течение прежних десяти тысяч жизней, боролось во мне, препятствуя стремлению воплотиться и стать самим собой.

Нелепо, не так ли? Но вспомни, читатель, с которым я надеюсь совершить далекое путешествие сквозь время и пространство, вспомни, пожалуйста, что я много лет думал об этом в беспросветном кровавом мраке, я был наедине с несколькими моими другими «я», видел их и совещался с ними. Тем горем и болью, что я испытал во всех своих существованиях, я поделюсь с вами на этих страницах, которые вы перелистаете на досуге.

Итак, как я уже говорил, в возрасте трех-пяти лет я не был собой. Я еще только формировался, принимая теперешний облик, и могучая, неодолимая власть прошлого накладывала на это становление неизгладимый отпечаток. Не мой голос кричал по ночам от страха перед тем, чего я, право, не знал и не мог знать, но перед тем, что, тем не менее, было мне хорошо знакомо. То же можно сказать и о моем детском гневе, любви и смехе. Другие голоса кричали в моем голосе, голоса мужчин и женщин прежних времен, моих мрачных прародителей. И в моем гневном вопле слышалось рычание животных более древних, чем горы. Мою детскую ярость пронизывал красный

гнев, наследие древних, свирепых тварей, живших в доисторические времена задолго до Адама.

Вот она, моя тайна. Красный гнев! Вот что было смыслом моей настоящей жизни! Из-за него через каких-то несколько недель меня выведут из этой камеры на высокое место с шатким помостом, мою шею обхватит натянутая веревка, и я буду болтаться на ней, пока не умру. Красный гнев губил меня всегда, во всех моих жизнях; красный гнев — мое злополучное наследие от тех времен, когда только зарождалась жизнь.

Пора мне представиться. Я отнюдь не склонен к безумию. Я хочу, чтобы вы это знали и верили в правдивость моего рассказа. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кто-то из вас, быть может, знает меня, но большинству это имя наверняка незнакомо, так что позвольте мне немного рассказать о себе. Восемь лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен убийством профессора Хаскелла, которое произошло в лаборатории горного факультета. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я — тот самый Даррел Стэндинг. Меня застали на месте преступления. Я не хочу сейчас спорить о том, кто из нас был прав, а кто виноват — я или профессор Хаскелл. Это сугубо личное дело. Суть в том, что в приливе гнева, одержимый этой багровой яростью, жившей во мне веками, я убил своего коллегу. Суд признал, что это сделал я, и я с ним совершенно согласен.

Но повесят меня не за это убийство. За него я был приговорен к пожизненному заключению. Тогда мне было тридцать шесть лет, сейчас мне только сорок четыре. Эти восемь лет я провел в Калифорнийской государственной тюрьме Сен-Квентин. Пять из них — в полной темноте. Это называется одиночным заключением. Люди, прошедшие через него, называют его погребением заживо. Однако в течение этих пяти лет мне удалось достичь такой свободы, какую мало кто испытал. Запертый в одиночке, я не только бродил по свету, но бродил и в разные времена. Те, кто замуровал меня на несколько лет, подарили мне, не догадываясь об этом, простор веков. Да, благодаря Эду Морреллу я пять лет скитался в бесконечности. Но Эд Моррелл —

это другая история. Я расскажу ее вам немного позже. Мне так много нужно вам рассказать, что я не знаю, с чего начать.

Хорошо, попытаюсь. Я родился в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведского эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Мой отец, Чонси Стэндинг, происходил из старинной американской семьи, родоначальником которой был Альфред Стэндинг, завербованный работник, или, если хотите, раб, привезенный из Англии на виргинские плантации еще в те давние времена, когда юный Вашингтон исследовал дикие земли Пенсильвании.

Сын Альфреда Стэндинга принимал участие в революции, внук — в войне 1812 года. Не было с тех пор войны, в которой бы не участвовали Стэндинги. Я, последний из Стэндингов, которому скоро предстоит умереть, не оставив потомства, сражался рядовым на Филиппинах, в нашу последнюю войну; ради этого я вышел в отставку на пике своей карьеры, будучи профессором университета в Небраске. О Боже! Я ведь занимал тогда должность декана в сельскохозяйственном колледже этого университета, — я, бродяга, запятнанный кровью искатель приключений, вечный скиталец Каин, воинственный жрец забытых эпох, мечтатель-поэт, чья слава давно канула в прошлое.

И вот я сижу с обагренными руками здесь, в отделении для убийц государственной тюрьмы Фолсем, ожидая дня, назначенного государственной машиной штата, когда слуги закона уведут меня во тьму — тьму, которой они боятся; ту, что рождает в них страх и бесчисленные суеверия и бросает их, тупоумных и воющих, к алтарям богов, созданных их страхом по своему образу и подобию.

Нет, мне уже не стать деканом сельскохозяйственного колледжа. Однако я знаю агрономию, это было мое призвание, ради которого я родился, был вскормлен и воспитан. Я в совершенстве овладел ею, обладая незаурядными способностями. Я могу на глаз определить процент жира в коровьем масле, а также достоинства и недостатки почвы, наличие в ней щелочи или кислоты, без всякой лакмусовой бумаги. Повторяю, моим призванием была и остается наука о земледелии. И вот государство и его граждане верят, что могут уничтожить это знание, отправив меня во мрак посредством веревки, затянутой на шее, — знание, по крупицам собранное в течение

тысячелетий и возникшее до того, как на возделанных полях Трои появились стада кочующих пастухов!

Урожай! Что вы знаете об урожае? Мои опыты в Уистаре увеличили годовой доход с урожая в каждом графстве штата на полмиллиона долларов. Таковы факты. Многие фермеры, разъезжающие теперь на собственных автомобилях, помнят, благодаря кому они их купили. Многие нежные, наивные девушки и юноши, склонившиеся над университетскими учебниками, и не подозревают, что высшее образование стало для них доступно именно благодаря моей деятельности в Уистаре.

А управление фермой! Я могу с ходу назвать причины непроизводительности труда, не углубляясь в конкретные детали, будь то ручной труд или машинный. На эту тему имеется мое руководство и таблица. Вне всякого сомнения, в настоящий момент сотни тысяч фермеров морщат лоб над его страницами, прежде чем выбить пепел из трубки и лечь спать. Но мне самому не нужны были таблицы, мне хватало одного взгляда на человека, чтобы определить его склонности и черты характера, а также — какова будет его производительность труда.

На этом я должен закончить первую главу моего рассказа. Сейчас девять часов, а в отделении для убийц это значит, что пора гасить свет. Я уже слышу тихие шаги надзирателя, намеревающегося сделать мне замечание за то, что моя лампа еще не потушена. Будто живой человек может угрожать тому, кто приговорен к смерти!..

Глава II

Я — Даррел Стэндинг. В ближайшие недели меня выволокут из камеры и повесят. Но до того я расскажу на этих страницах о других временах и местах.

Приговор гласил, что я должен провести остаток моей жизни в тюрьме Сен-Квентин. Я признан неисправимым, а значит — отвратительным существом, по крайней мере, таково значение этого слова в тюремном лексиконе. Я стал «неисправимым» из-за своего отвращения к непроизводительности труда. Эта тюрьма, подобно всем остальным тюрьмам, представляет собой настоящий бедлам с точки зрения непроизводительности труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступные растраты энергии раздражали меня. Как могло быть иначе? Ведь это было моей специальностью. За три тысячи лет до изобретения механического ткацкого станка я гнил в древнеавилонской тюрьме, и поверьте мне, я не лгу, утверждая, что в те далекие дни мы, заключенные, работали интенсивнее на ручном станке, чем арестанты Сен-Квентина на станках, приводимых в действие паром.

Это бессмысленное расточение сил было преступным в моих глазах. Я возмутился. Я пытался показать надзирателям другие, более продуктивные способы работы. На меня донесли начальству, после чего бросили в карцер, лишив света и пищи. Я смирился было и попробовал работать в хаосе ткацкой мастерской, но снова взбунтовался, и на этот раз меня отправили в карцер в смиренной рубашке. Распростертого на полу, меня избивали безмозглые тюремщики, способные понять лишь то, что я не похож на них и не так глуп.

Два года мне пришлось терпеть эти бессмысленные истязания. Страшная это пытка — быть связанным и брошенным крысам. Именно крысами были мои тюремщики, поедавшие мой мозг, мои чувства и сознание. А я, некогда храбрый боец, в этой своей жизни отнюдь им не являлся. Я был фермером, агрономом, университетским профессором,

кабинетным ученым, интересовавшимся только почвой и увеличением ее плодородия.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция Стэндингов, но не имел к этому никакой склонности. Слишком нелепым казалось мне это занятие — поражать взрывчатыми веществами тела маленьких темнокожих людей. Странно было наблюдать, как наука prostituiрует всю мощь своих завоеваний и талант изобретателей для того только, чтобы насильственно вводить посторонние вещества в тела темнокожего народа.

Как я сказал, следуя традиции Стэндингов, я отправился на войну и обнаружил, что не создан для нее. Того же мнения были и мои офицеры, поэтому меня назначили штабным писарем, и вот так, писарем за конторкой, я и сражался всю испано-американскую войну.

Вы видите, что не как боец, а как мыслитель я восстал против непроизводительности труда в ткацкой мастерской и подвергся преследованиям тюремщиков, а затем получил звание «неисправимого». Я не переставал мыслить, и я был наказан за это. Так я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя неисправимость стала столь несомненной, что он вызвал меня для разговора в свой личный кабинет.

— Глупо думать, начальник, что ваши крысы-грызуны смогут выбить из моей головы то, что ясно и определенно сложилось в ней. Вся организация вашей тюрьмы нелепа. Вы политик. Ваше дело — ткать политические сети с ресторанными завсегдатаями из Сан-Франциско, и это занятие вам больше по плечу, чем то, которым вы сейчас занимаетесь. Ведь вы не умеете ткать джут. Ваши мастерские устарели на пятьдесят лет...

Но не стоит приводить тут всю эту тираду. Я показал ему, как он глуп, и в результате он решил, что я безнадежно неисправим.

Как гласит пословица, нельзя давать собаке плохую кличку. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной дурную славу. Не раз проступки других осужденных приписывались мне, и я расплачивался за них карцером на хлебе и воде, или меня подвешивали за большие пальцы на долгие часы, каждый из которых казался дольше любой жизни, когда-либо мною прожитой.

Умные люди бывают жестоки, но дураки жестоки чудовищно. Все мои тюремщики, начиная с Азертонна, были тупыми извергами.

Сейчас вы узнаете, что они со мной сделали.

В тюрьме был один заключенный-поэт со следами вырождения на лице и теле. Он был фальшивомонетчик, трус и слюнтяй, и он был стукач. Странные слова употребляет профессор агрономии, скажете вы, но профессор агрономии, осужденный на пожизненное заключение, неизбежно узнает много странных слов.

Этого поэта-стукача звали Сесил Уинвуд. Он не впервые попал под суд, однако из-за дворянского происхождения его приговорили лишь к семи годам тюрьмы. Хорошее поведение значительно уменьшило бы этот срок. Мой срок — это вся жизнь. Однако этот несчастный выродок, для того чтобы пораньше выйти на свободу, ухитрился добавить основательный кусок вечности к моему пожизненному заключению.

Я расскажу, как это случилось, хотя весь ход событий стал мне известен много позже. Этот Сесил Уинвуд, желая попасть в милость к начальнику тюрьмы, ко всем инспекторам и к губернатору Калифорнии, подстроил доказательства якобы задуманного побега из тюрьмы. Нужно отметить, что: 1) Сесила Уинвуда так ненавидели его товарищи по заключению, что не позволяли ему участвовать в пари на состязаниях, кто из клопов прибежит раньше (среди заключенных это было очень распространенное развлечение); 2) я был собакой с плохой кличкой; 3) для своего замысла Сесил Уинвуд нуждался в собаках с дурной репутацией, в пожизненно заключенных, в отчаявшихся, в неисправимых.

Но пожизненно заключенные ненавидели Сесила Уинвуда, и, когда он подходил к ним со своим планом массового побега, они смеялись над ним и с проклятием прогоняли этого провокатора. Но в конце концов он все же одурачил самым жестоким образом сорок человек. Он приставал к ним снова и снова, рассказывая о влиянии, которым пользуется в тюрьме в силу своей должности в канцелярии Азертонна, например имеет свободный доступ к аптеке.

— Докажи, — сказал Длинный Билл Ходж, горец, пожизненно осужденный за ограбление поезда и всей душой в течение многих лет мечтавший о побеге, чтобы убить своего соучастника, который выдал его.

Сесил Уинвуд согласился пройти испытание. Он заявил, что может усыпить стражу в ночь побега.

— Болтать легко, — сказал Длинный Билл Ходж. — Нам нужны факты. Усыпи одного из надзирателей сегодня ночью, хоть Барнума, он скотина. Он вчера вдруг избил старого китаезу в коридоре, когда даже не был на дежурстве. Сегодня ночью он стоит на карауле. Усыпи его, и пускай его уволят. Покажи мне, что ты это можешь, и тогда поговорим о деле.

Все это мне рассказал впоследствии Длинный Билл в карцере. Сесил Уинвуд медлил со своим доказательством. Он потребовал время на то, чтобы достать из аптеки снотворное. Они ему дали время, и неделю спустя он заявил, что готов. Сорок жестоко обманутых пожизненно заключенных ждали, когда надзиратель Барнум уснет на посту. И Барнум уснул. Его застали спящим на дежурстве и уволили.

Конечно, это убедило заключенных. Теперь нужно было убедить старшего надзирателя. Ему ежедневно Уинвуд докладывал о ходе подготовки к побегу, от начала до конца выдуманному им. Надзиратель тоже потребовал доказательств. Уинвуд их представил. Все подробности этого дела я узнал лишь год спустя, — так медленно просачиваются тайны тюремных интриг.

Уинвуд сказал, что сорок заговорщиков, в доверие к которым он вошел, приобрели уже такое влияние в тюрьме, что собираются пронести в тюрьму пистолеты, подкупив охрану.

— Докажи это, — вероятно, потребовал надзиратель.

И доносчик-поэт доказал. В пекарне часто работают по ночам. Один из заключенных, пекарь, работавший в ночной смене, был одним из доносчиков старшего надзирателя, и Уинвуд знал это.

— Сегодня ночью, — сказал он надзирателю, — Саммерфейс должен принести в тюрьму дюжину пистолетов. В следующий раз он доставит к ним патроны. Сегодня же ночью он передаст мне оружие в пекарне. У вас там надежный человек. Завтра он вам доложит об этом.

Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Этот простодушный, добрый парень был не прочь честно заработать доллар-другой тайной доставкой табака заключенным. В эту ночь, вернувшись из побывки в Сан-Франциско, он привез с собой пятнадцать фунтов первосортного табака. Он это и раньше делал, вручая товар Сесилу Уинвуду. Так и в эту ночь, ничего не зная, он

доставил табак Уинвуду в пекарню. То была большая, тяжелая, упакованная в бумагу пачка невинного табака. Доносчик-пекарь видел, как сверток тайно передали Уинвуду, и доложил об этом старшему надзирателю на следующее утро.

Между тем живое воображение поэта-стукача чересчур разыгралось. Из-за него я получил пять лет строгого одиночного заключения и попал в ту проклятую камеру, в которой пишу эти строки. И все время я ничего об этом не знал. Я даже не знал о побеге, планом которого он соблазнил сорок пожизненно заключенных. Я ничего не знал, решительно ничего, а остальные знали немного. Заключенные не догадывались, что их обманывают, да и старший надзиратель не предполагал, что с ним хитрят. Саммерфейсу вообще ничего не было известно. Самое худшее, в чем он мог себя упрекнуть, это лишь тайная доставка табака в тюрьму.

И вот тут-то Сесил Уинвуд выкинул глупую, бессмысленную штуку. На следующее утро он встретил старшего надзирателя с ликующим видом. Ему казалось, что дело в шляпе.

— Да, действительно ему передали пакет, — заметил надзиратель.

— И этого хватит, чтобы взорвать полтюрьмы, — подтвердил Уинвуд.

— Хватит чего? — оторопел надзиратель.

— Динамита и детонаторов! — закричал глупец. — Тридцать пять фунтов динамита. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал его мне.

Надзиратель чуть не умер при этом известии. Тут я ему могу посочувствовать, тридцать пять фунтов динамита в тюрьме — это не шутка.

Говорят, капитан Джеми — таково было его прозвище — сел и подпер голову обеими руками.

— Где он теперь находится? — закричал он. — Я желаю знать. Сейчас же отведи меня туда.

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

— Я его закопал, — солгал он потому, что табак давно уже разложили по маленьким пакетам и распределили между заключенными, как обычно.

— Очень хорошо, — сказал капитан Джеми, взяв себя в руки, — покажи мне где.

Но нельзя было показать, где зарыто взрывчатое вещество, никогда не существовавшее в действительности, а только лишь в воображении несчастного Уинвуда.

В такой обширной тюрьме, как Сен-Квентин, всегда полно мест, где можно спрятать вещи. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, мысль его работала с бешеной скоростью.

Как капитан Джеми засвидетельствовал впоследствии перед главным тюремным начальством и как свидетельствовал также Уинвуд, по дороге к тайнику он заявил, что закапывать динамит помогал ему я.

А меня только что выпустили из карцера, где я провел пять суток, и восемьдесят часов из них — в смиренной рубашке; даже тупые тюремщики сочли меня слишком слабым для работы в ткацкой мастерской и дали день для отдыха после слишком сурового наказания. И вот он указывает на меня как на человека, помогавшего ему прятать несуществующие тридцать пять фунтов динамита.

Уинвуд повел капитана Джеми к упомянутому им тайнику. Конечно, они не нашли в нем ничего.

— Боже мой! — в притворном ужасе закричал Уинвуд. — Стэндинг обманул меня. Он перепрятал динамит в другое место.

У надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». Затем, вне себя от бешенства, но не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда в свой кабинет, запер двери и страшно избил его, — все это потом дошло до главного тюремного начальства, но много позже. А пока, несмотря на побои, Уинвуд клялся, что все сказанное им — правда.

Что было делать капитану Джеми? Он был убежден, что тридцать пять фунтов динамита спрятаны в тюрьме и что сорок самых отчаянных заключенных готовы к побегу. Он допросил Саммерфейса, и хотя тот настаивал, что в свертке находился табак, Уинвуд продолжал божиться, что там был динамит, и таки заставил всех себе поверить.

Тогда я выступил на сцену или, вернее, сошел со сцены, потому что они отняли у меня солнце и дневной свет и бросили гнить в карцере, а затем в одиночной камере на долгих пять лет.

Я был ошеломлен. Меня только что освободили из карцера, и я лежал больной после перенесенного наказания в своей камере, как вдруг меня снова бросили в одиночку.

— Ну, хотя мы и не знаем, где теперь динамит, — сказал Уинвуд капитану Джеми, — но он в целости. Стэндинг — единственный человек, которому известно, где он, а из карцера он никому не может об этом сообщить. Люди готовы совершить побег. Мы захватим их на месте. Нужно только назначить время. Я скажу им, что в два часа ночи, когда часовые заснут под действием снотворного, я открою их камеры и раздам оружие. Если сегодня в два часа вы не поймаете с поличным сорок названных мною человек, бодрствующими и совершенно одетыми, вы можете, капитан, посадить меня в одиночку до конца моего срока. А от Стэндинга и от тех сорока, надежно запертых в карцере, мы в любое время дознаемся, где находится динамит.

— Да, даже если понадобится разнести тюрьму по кусочкам, — храбро прибавил капитан Джеми.

Это было шесть лет назад. За это время они не нашли никогда не существовавшую взрывчатку, хотя в ее поисках тысячу раз перевернули тюрьму вверх дном. Тем не менее до последнего дня своей службы начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и доньше работает старшим надзирателем, верит и сейчас, что он где-то в стенах тюрьмы. Вчера он прибыл из Сен-Квентина в Фолсем, чтобы еще раз попытаться заставить меня признаться ему, где он спрятан. Я знаю, он не вздохнет свободно, пока меня не повесят.

Глава III

Весь этот день я ломал себе голову, пытаюсь найти причину нового наказания. Я мог лишь прийти к заключению, что какая-то дрянь, выслуживаясь перед начальством, солгала, будто я нарушил правила. В это время капитан Джеми, почесывая голову, готовился к ночи, а Уинвуд передал сорока заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа ночи вся тюремная стража, за исключением дневной смены, которая отдыхала, была начеку. Как только пробило два часа, они устремились к камерам сорока заговорщиков. Они ворвались во все камеры одновременно, и все, кого назвал Уинвуд, без исключения, были застигнуты совершенно одетыми и притаившимися за дверь. Конечно, это вполне подтвердило ту лживую сказку, что сплел поэт-доносчик капитану Джеми. Сорок заключенных были схвачены на месте преступления. Напрасно все как один утверждали впоследствии, что побег был задуман Уинвудом. Тюремное начальство поверило, что все сорок лгут, пытаюсь себя выгородить. Комиссия по амнистии, уверенная в том же, через три месяца освободила Сесила Уинвуда, доносчика и поэта, самого презренного из людей...

Впрочем, бунт и заключение — хорошее испытание для философа. Ни один заключенный не может прожить в тюрьме годы без того, чтобы не лопнули его самые безумные иллюзии и красивейшие метафизические пузыри. Нас учили тому, что правда побеждает, а зло рано или поздно бывает наказано. Данный же случай свидетельствует как раз о том, что зло не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, покойный Азертон, все тюремное начальство, как один человек, поверило в существование динамита, который существовал лишь в неустойчивом, легко возбудимом мозгу поэта, выроodka и стукача Сесила Уинвуда. Сесил Уинвуд до сих пор жив, между тем как я, самый не причастный и безвинный, отправлюсь на эшафот через несколько недель.

Теперь я должен рассказать, как тишину моего карцера нарушили сорок пожизненно заключенных. Я спал, когда наружная дверь

карцерного коридора с шумом открылась, разбудив меня. «Какой-нибудь бедняга», — подумал я; моей следующей мыслью было, что ему крепко достается, ибо я слышал топот ног, грубые толчки, внезапные крики боли, непристойную ругань и шорох волочимых по полу тел. Ибо, знаете, всем, кто попадает сюда, обычно достается по дороге.

Двери карцеров шумно отворялись одна за другой, и тело за телом вталкивали, бросали и втаскивали в одиночки. И беспрестанно новые группы надзирателей приходили, приводя новых избитых заключенных; и много раз открывались двери карцеров, чтобы поглотить окровавленные тела людей, виновных в том, что они стремились к свободе.

Да, когда я оглядываюсь на это, мне кажется, что человек должен быть великим философом, чтоб пережить такое грубое обращение в течение многих лет. Я — такой философ. Я перенес восемь лет пыток и теперь наконец, не сумев избавиться от меня другими способами, они призвали на помощь государственную машину для того, чтобы надеть мне петлю на шею и лишить меня жизни. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое веское заключение о том, что при падении в люк веревка ломает жертве шейные позвонки. А жертвы, подобно шекспировскому путешественнику, никогда не возвращаются, чтобы опровергнуть это. Но мы, жившие в тюрьме, знаем, что иногда крышки тюремных склепов захлопываются над теми, чьи шеи отнюдь не сломаны.

Забавная это штука — повешение человека. Я никогда не видел этой казни, но очевидцы описывали мне ее десятки раз с такими подробностями, что я очень хорошо знаю, что мне предстоит. Я буду стоять на эшафоте, скованный по рукам и ногам, с петлей на шее, в черном колпаке, а затем я почувствую толчок, и мое тело повиснет на натянутой веревке. Тогда доктора окружают меня и один за другим по очереди станут взбираться на табурет, ощупывать руками меня, качающегося подобно маятнику, прикладывать ухо к моей груди, следя за слабеющим биением моего сердца. Пройдет около двадцати минут после того, как у меня из-под ног выбьют табурет, и сердцебиение прекратится. О, поверьте мне, они вполне научно удостоверяются, что человек мертв, раз уж взяли его повесить.

Я еще раз отклоняюсь от своего рассказа, чтобы задать обществу один или два вопроса. Я имею право на это, потому что очень скоро меня схватят и сделают со мной то же самое. Так вот, если шея жертвы ломается под действием искусной системы узла и петли, в силу точного расчета веса человека и длины веревки, то зачем же связывать руки жертвы? Общество неспособно ответить на этот вопрос. Но я знаю почему: так поступают палачи-любители при линчевании, которым хоть раз приходилось видеть, как жертва хватается за веревку и освобождает горло от петли, которая его душит.

Другой вопрос я обращаю к прилично одетому в крахмальную сорочку и сюртук члену общества, душа которого никогда не блуждала по обгабренному кровью аду. Зачем нахлобучивают черный колпак на голову жертвы, прежде чем сбросить ее с помоста? Пожалуйста, вспомните, что через некоторое время черный колпак наденут и на мою голову. Поэтому я и имею право спрашивать об этом. Не затем ли делают это ваши палачи, о нарядные граждане, что боятся взглянуть на тот ужас, который написан на лице жертвы, когда они совершают преступление над нами по вашему приказанию?

Пожалуйста, вспомните, что я задаю этот вопрос не спустя двенадцать столетий после Рождества Христова, не в год рождения Христа, не за две тысячи лет до Рождества Христова.

Я, которого скоро повесят, задаю этот вопрос в 1913 году после Рождества Христова, вам, считающим себя последователями Христа, вам, чьи палачи скоро задушат меня и скроют мое лицо черным колпаком, потому что они не смеют смотреть на тот ужас, который сотворят со мной, пока я еще буду жив.

А теперь вернемся к тому, что произошло в карцере. Когда удалился последний тюремщик и наружная дверь захлопнулась, все сорок избитых и обманутых людей начали говорить и расспрашивать друг друга. Но тут же заревел, как бык, Брамсель Джек, великан-матрос, приказывая всем замолчать, чтобы устроить сперва перекличку. Карцеры были переполнены, и заключенные стали по очереди называть свои имена. Таким образом выяснилось, что все карцеры заняты проверенными людьми и доносчиков среди них нет.

Только относительно меня были сомнения у заключенных, так как я был единственным, кто не принимал участия в заговоре. Они подвергли меня строгому допросу. Я мог лишь рассказать, что только

утром был освобожден от карцера и смирительной рубашки, а затем без всякого повода, насколько я мог судить, был брошен обратно, пробыв вне его лишь несколько часов. Мое звание «неисправимого» свидетельствовало в мою пользу, и они скоро начали разговаривать.

Лежа и слушая их речи, я впервые узнал о том, что готовился побег. «Кто донес?» — только этот вопрос занимал их, и всю ночь они обсуждали его. Все указывало на Сесила Уинвуда, подозрение на его счет было общим.

— Одно надо иметь в виду, ребята, — сказал в конце концов Брамсель Джек, — скоро утро, и нас вытащат отсюда и спустят шкуру. Мы попались с поличным, одетыми. Уинвуд одурачил нас и донес. Они станут допрашивать нас по одному, без особых нежностей. Нас сорок. Если станем врать, вранье обязательно обнаружится. А потому пусть каждый, когда его станут допрашивать, сразу говорит правду, всю правду, и помогай ему Бог.

И вот, в темной яме человеческой жестокости, во всех одиночных камерах, приложив уста к решетчатому окошку, четыре десятка пожизненно заключенных торжественно клялись перед Богом говорить только правду.

Мало хорошего принесла им эта правдивость. В девять часов к нам явились надзиратели, убийцы, нанятые прилично одетыми гражданами, составляющими государство, упитанные и выпавшиеся. Мы же не только не получили завтрака, но даже и воды не пили. А избитого человека обычно лихорадит. Интересно мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть самое отдаленное представление о самочувствии избитого человека? Но я не стану об этом рассказывать. Достаточно знать, что эти избитые, трясущиеся в лихорадке люди семь часов пролежали без воды.

В девять явились надзиратели. Их было немного, да много и не требовалось, так как карцеры отпирали по одному. Они были вооружены заостренными палками, удобным оружием для «дисциплинирования» беспомощного человека. Открывая по одной двери за раз, они жестоко избивали заключенных. Они были беспристрастны. Я получил такую же порцию, как и все остальные. И это было только начало, предисловие к допросу, который предстоял каждому из нас по отдельности, в присутствии наемных насильников государства.

Я прошел через все ужасы тюремной жизни, но хуже всего, хуже того, что они собирались со мной сделать в ближайшем будущем, был тот особый ад, что воцарился в последующие дни в карцерах.

Длинного Билла Ходжа, крепко сбитого горца, допросили первым. Он вернулся спустя два часа или, вернее, его притащили обратно и бросили на каменный пол карцера. Затем взяли Луиджи Полаццо из Сан-Франциско, итальянца по происхождению, который насмеялся и глумился над тюремщиками, призывая их расправиться с ним самым худшим образом.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж преодолел свою боль и смог собраться с мыслями.

— Что там за динамит? — спросил он. — Кто знает что-нибудь об этом динамите?

И конечно, никто не знал о нем, хотя вся суть допроса сводилась к динамиту.

Луиджи Полаццо вернулся немного раньше, чем через два часа; он вернулся калеккой, в горячке, и не мог отвечать на вопросы, звеневшие в гулком коридоре, вопросы людей, которым предстояло то же, что и ему. Они очень хотели знать, что с ним делали и о чем его допрашивали.

Еще дважды на протяжении сорока восьми часов Луиджи водили на допрос. После чего, безумного, невнятно бормочущего, его отправили в отделение для умалишенных. Он отличался крепким сложением: его плечи были широки, грудь сильна, кровь чиста. Он будет еще долго бормотать что-то в отделении для умалишенных, после того как меня повесят и избавят от мучений исправительных заведений Калифорнии.

Одного за другим, каждый раз по одному человеку, заключенных уводили из камер и возвращали обратно сломленными, совершенно безумными, и они стонали и выли в темноте. И пока я лежал здесь и прислушивался к стенаниям и бреду людей, чей разум помутился от страданий, что-то смутно вспомнилось мне; мне казалось, что где-то когда-то я сидел на возвышении, гордый и безучастный, и внимал подобному хору стонов и проклятий. Впоследствии, как вы узнаете, я открыл источник этого воспоминания и понял, что некогда слышал стенания оборванных рабов-гребцов, прикованных к своим скамьям, слышал их, стоя наверху, на корме военной галеры древнего Рима. Это

было, когда я, капитан галеры, плыл из Александрии в Иерусалим...
Но эту историю я расскажу вам после. А пока...

Глава IV

А пока я был во власти ужаса, охватившего карцеры после того, как был раскрыт заговор о побеге. И ни на минуту в течение этих бесконечных часов ожидания из моего сознания не ускользала мысль, что дойдет и моя очередь вслед за другими заключенными, что мне придется вынести те же мучения на допросах, какие переносили они, что меня также принесут избитого обратно и бросят на каменный пол моего каменного, с железной дверью, мешка.

Они явились ко мне. Грубо и угрюмо, с ударами и проклятиями вывели они меня, и я очутился лицом к лицу с капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными полудюжиной нанятых государством и налогоплательщиками палачей-надзирателей, которые выстроились в комнате в ожидании приказаний. Но они не понадобились.

— Садись, — сказал Азертон, указывая на солидное кресло.

Избитый и больной, не имевший во рту ни капли воды в течение длинной ночи и дня, ослабевший от голода и побоев, после пятидневного пребывания в карцере и восьмидесятичасового — в смиренной рубашке, подавленный превратностями человеческой судьбы, ожидая, что со мной случится то же самое, что и с другими, я, слабое подобие человеческого существа, когда-то профессор агрономии в спокойном университетском городке, — я колебался, не решаясь сесть.

Начальник тюрьмы Азертон был крупным и очень сильным мужчиной. Его руки опустились на мои плечи. Я почувствовал себя соломинкой в сравнении с ним. Он приподнял меня и бросил в кресло.

— Теперь, Стэндинг, — сказал он, пока я вздыхал и молча проглатывал свою боль, — расскажи мне все. Выложи все, что знаешь, это будет для тебя лучше.

— Я ничего не знаю о том, что случилось, — начал я.

Я не мог продолжать: он, рыча, снова бросился на меня, поднял в воздух и швырнул в кресло.

— Без глупостей, Стэндинг, — предупредил он. — Скажи честно, где динамит?

— Я ничего не знаю ни о каком динамите, — возразил я.

Меня еще раз встряхнули и бросили в кресло.

Я вытерпел множество пыток, но когда я думаю о них в тиши этих моих последних дней, я готов признать, что ни одна из них не сравнится с тем, что я испытал в этом кресле. Под ударами моего тела оно постепенно превращалось в обломки. Принесли другое, и спустя некоторое время его постигла та же участь.

Приносили все новые кресла, и тянулся бесконечный допрос о динамите.

Когда Азертон устал, его сменил капитан Джеми, а затем надзиратель Моногэн занял место капитана Джеми. И все время меня спрашивали только одно: «Где динамит?» А его вовсе не было. Так что в конце концов я готов был продать свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, чтобы иметь возможность указать, где я его спрятал.

Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в один кошмар. Меня наполовину несли, наполовину тащили, чтобы ввергнуть снова во мрак. Придя в себя, я обнаружил в своем карцере доносчика. То был бледнолицый маленький человек, заключенный с небольшим сроком, готовый на все, лишь бы скорее выйти на волю. Как только я узнал его, я подошел к решетке и крикнул на весь коридор:

— Ко мне посадили стукача, ребята. Это Игнатиус Ирвин. Держите язык за зубами!

Раздавшийся взрыв проклятий мог бы поколебать мужество и более смелого человека, чем Игнатиус Ирвин. Он был жалок в своем страхе, потому что вокруг него, рыча как звери, истерзанные пожизненно заключенные грозили ему ужасной расправой, которую обязательно учинят над ним, когда встретят его через несколько лет.

Если бы у нас были тайны, то присутствие доносчика в карцере сразу заставило бы всех замолчать. Но так как все поклялись говорить только правду, откровенные разговоры в присутствии Игнатиуса Ирвина не прекратились. Большое недоумение вызывал у заключенных динамит, существование которого было для них покрыто

таким же мраком неизвестности, как и для меня. Они обратились ко мне. Они умоляли меня, если я знаю что-нибудь о динамите, признаться и спасти их от дальнейших истязаний. И я сказал им только правду: что я ничего не знаю о динамите.

То, что рассказал мне доносчик до того, как его убрали из моей камеры, открыло мне, как серьезно обстоят дела. Конечно, я передал его слова дальше. Тысячи заключенных оставались в своих камерах, и похоже было на то, что ни в одной из множества тюремных мастерских не примутся за работу, пока не будет обнаружено местонахождение динамита, якобы кем-то спрятанного в тюрьме.

Расследование продолжалось. То и дело кого-то из заключенных выводили, затем водворяли обратно. Они рассказывали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, измученные своими трудами, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал. И они спали не раздеваясь в той самой комнате, где одного за другим избивали сильных мужчин.

И с каждым часом в темноте одиночек рос наш исступленный ужас. О, поверьте моему опыту, казнь — это пустяки в сравнении с истязаниями, которым подвергают живых людей, не давая им умереть. Я тоже страдал вместе с ними от боли и жажды, но мои терзания усиливались оттого, что я был равнодушен к страданиям других. Я уже два года был неисправимым, мои нервы закалились. Ужасно видеть сильного человека сломленным. Разом со мной были сломлены сорок сильных мужчин. Отовсюду неслись мольбы о воде, и тюрьма стала похожа на сумасшедший дом из-за криков, рыданий и бормотания исступленно бредящих людей.

Понимаете вы это? Наша правда, та истинная правда, которую мы говорили на допросах, стала нашим проклятием. Если сорок человек единодушно повторяют одно и то же, то, по мнению Азертона и капитана Джеми, это значит, что их показания представляют собой заученную наизусть ложь, которую каждый из сорока твердит как попугай.

Положение тюремных властей, пожалуй, было более отчаянным, чем наше. Как я впоследствии узнал, было созвано по телеграфу совещание управления тюрьмы, и две роты государственной милиции были спешно направлены к ней.

Стояла зима, а даже в Калифорнии мороз зимой бывает очень сильным. В карцерах не полагались одеяла. Знайте, что очень холодно лежать избитым телом на холодном камне. В конце концов им пришлось дать нам воду. С насмешками и проклятиями тюремщики схватили пожарные рукава и направили сильные потоки воды в каждый карцер, хлеща наши избитые тела их мощью. И так продолжалось до тех пор, пока мы не оказались по колено в воде, о которой мы только что бредили, а теперь мечтали, чтобы этот поток иссяк.

Я умолчу о том, что случилось в карцерах, и только скажу, что ни один из сорока пожизненно заключенных не остался прежним человеком. К Луиджи Полаццо никогда больше не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж тоже медленно терял разум и через год перебрался на житье в отделение для умалишенных. И многие другие тоже последовали за Полаццо и Ходжем; те же, чье физическое здоровье было подорвано, пали жертвой тюремного туберкулеза. Целых двадцать пять процентов из этих сорока человек умерли в течение последующих шести лет.

После пятилетнего одиночного заключения, когда меня для судебного разбирательства перевели из Сен-Квентина, я встретил Брамсея Джека. Я плохо видел его, потому что, как летучая мышь, был ослеплен солнечным светом после пяти лет темноты; но я видел достаточно, чтобы у меня защемило сердце. Я встретил его в тюремном дворе. Его волосы побелели, он преждевременно состарился, его грудь ввалилась, щеки впали, руки тряслись, он шатался на ходу. На его глазах появились слезы, когда он узнал меня, потому что я тоже был жалким обломком бывшего человека. Я весил всего восемьдесят семь фунтов. Мои полуседые волосы за пять лет отросли, как и борода и усы. И я тоже шатался на ходу, так что тюремщики помогали мне пройти этот залитый солнцем кусочек тюремного двора. И я, и Брамсель Джек, мы смотрели и с трудом узнавали друг друга в этих обломках.

Люди, подобные ему, пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он решил нарушить правила и заговорил со мной хриплым, дрожащим голосом:

— Ты порядочный человек, Стэндинг, ты никого не выдал.

— Но я ничего не знал, Джек, — зашептал я, ибо за пять лет молчания мой голос почти совсем пропал. — Я вообще не думаю, что этот динамит существовал.

— Это правда, — прохрипел он, по-детски кивая головой. — Настаивай на этом. Пусть никто об этом не знает. Ты порядочный парень. Я преклоняюсь перед тобой, Стэндинг. Ты никого не выдал.

И тюремщики повели меня дальше. Я в последний раз видел Брамсея Джека. Было очевидно, что и он также стал верить в миф о динамите.

Дважды водили меня к тюремному начальству. Мне попеременно то угрожали, то умасливали. Мне предоставили на выбор лишь две возможности. Если я открою, где динамит, наказание будет легким — месяц в карцере, а потом меня назначат заведующим тюремной библиотекой. Если я не перестану упорствовать и не выдам местонахождение динамита, меня запрут в одиночку на весь оставшийся срок. Для меня, пожизненно заключенного, это было равносильно одиночному заключению на всю жизнь.

О нет!.. Калифорния — страна цивилизованная. Ничего подобного нет в сводах законов. Это жестокое и небывалое наказание, и ни одно современное государство не имеет подобного закона. Однако в истории Калифорнии я являюсь третьим человеком, приговоренным к пожизненному одиночному заключению. Двое других — это Джек Оппенгеймер и Эд Моррелл. Я скоро расскажу вам о них, потому что с ними я гнил целые годы в кельях молчания.

И вот еще что. Меня скоро повесят, но не за убийство профессора Хаскелла. За это я получил пожизненное заключение. Вздернут меня за то, что я напал на надзирателя, нарушив не требование тюремной дисциплины, а закон, который можно найти в уголовном кодексе.

Возможно, я разбил ему нос. Я не видел, как текла кровь, но свидетели нашлись. Его звали Серстон, то был надзиратель в Сен-Квентине. Он весил 170 фунтов и отличался отменным здоровьем. Я весил около девяноста фунтов и был слеп, как летучая мышь; я так долго находился в крохотной камере, что терялся при виде большого открытого пространства. В самом деле, у меня определенно развивалась агорафобия; я убедился в этом в тот день, когда выбежал из одиночки и ударил надзирателя Серстона в нос.

Я расквасил ему нос до крови, потому что он встал на моем пути и попытался схватить меня. И за это меня повесят. Таков писанный закон штата Калифорния: пожизненный заключенный, такой как я, виновен в тягчайшем преступлении, если он побил тюремщика, такого как Серстон. Конечно, кровотечение беспокоило его не более получаса, и все же меня за это повесят.

И вот! Этот закон в моем случае имеет обратную силу. Он еще не был принят, когда я убил профессора Хаскелла. Его утвердили уже после того, как я получил пожизненный приговор. Суть в том, что вынесенный мне приговор поставил меня под действие такого закона, который еще не был занесен в кодекс. И вот, из-за этих правил для пожизненно заключенных меня повесят за то, что я побил надзирателя Серстона. Это очевидный случай придания закону обратной силы и, следовательно, противоречащий конституции.

Но какое значение имеет конституция в глазах законников, если они желают убрать с дороги известного профессора Даррела Стэндинга? Да и не моя казнь станет прецедентом. Год тому назад (кто читает газеты, тот знает) повесили Джека Оппенгеймера, как раз здесь, в Фолсеме, за подобное преступление, только он не разбил нос тюремщику до крови, а случайно порезал заключенного хлебным ножом.

Странная штука — жизнь, и пути людей, и законы, и хитросплетения судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере отделения для убийц, которую занимал Джек Оппенгеймер, пока его не выдворили отсюда и не сделали с ним то, что теперь собираются сделать со мной.

Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом. Вернусь теперь к моему рассказу. Тюремное начальство предоставило мне выбор: заведовать тюремной библиотекой с освобождением от работы в ткацкой мастерской, если я открою местонахождение несуществующего динамита, или пожизненное одиночное заключение, если я откажусь это сделать.

Они дали мне на размышление двадцать четыре часа в смиренной рубашке. Затем я вторично предстал перед ними. Что мог я сделать? Я не мог указать, где находится несуществующий динамит. Я так им и сказал, но они назвали меня лжецом. Они заявили, что я представляю собою очень тяжелый случай, что я опасный

человек, нравственный выродок, выдающийся преступник своего века. Они сказали мне еще много чего и затем отправили в одиночную камеру. Я был помещен в камеру № 1. В номере пятом находился Эд Моррелл, в двенадцатом — Джек Оппенхеймер. Последний — уже десять лет, а Эд Моррелл провел в своей камере только год. Его приговорили к пятилетнему одиночному заключению. Джек Оппенхеймер был пожизненно заключенным, как и я. Поэтому можно было предположить, что мы трое останемся здесь надолго. И однако прошло только шесть лет, и вот уже никого из нас нет. Оппенхеймер повешен, Эд Моррелл повинился в Сен-Квентине и был помилован на следующий день. А я — здесь, в Фолсеме, в ожидании того дня, когда предстану перед судьей Морганом, — в ожидании своего последнего дня.

Безумцы! Будто они могут уничтожить мое бессмертие веревкой и эшафотом! Я буду идти и идти вперед, вечно шагать по этой прекрасной земле. И я буду странствовать, воплощенный, буду князем и крестьянином, ученым и безумцем, сидеть на возвышении и стонать под колесами...

Глава V

Сначала в одиночке было очень скучно и часы тянулись медленно. Ход времени отмечался лишь регулярной сменой стражи и чередованием дня и ночи. Днем в мою камеру проникало только немного света, но все же это было лучше полной тьмы ночи. В одиночке день — это только липкая тина, через которую процеживается свет из другого, яркого мира.

Света всегда было слишком мало для того, чтобы читать, да и читать-то было нечего. Можно было только лежать и думать, думать. А ведь я был пожизненно заключенным, и становилось ясно, что если я не совершу чудо, добыв тридцать пять фунтов динамита из ничего, то мне придется провести всю оставшуюся жизнь в безмолвном мраке.

Моя постель представляла собой тонкий тюфяк из гнилой соломы, лежащий на голом полу. Укрывался я грязным одеялом. Не было ни стула, ни стола — ничего, кроме соломенного тюфяка и ветхого одеяла. Я привык спать мало и заниматься умственным трудом. В одиночке надоедаешь сам себе, и единственным средством убежать от себя является сон. В течение многих лет я спал в среднем по пять часов в сутки. Теперь я культивировал сон, я создал из этого целую науку. Я приучил себя спать десять часов, потом двенадцать. Большого достичь было нельзя, и поэтому приходилось лежать, бодрствуя, и думать, думать. А на этом пути человека, привыкшего много размышлять, ждет безумие.

Я пытался изобрести способы, чтобы хоть как-то заполнить мои часы бодрствования. Я возводил в квадрат и куб длинные ряды чисел и строил из них удивительные геометрические прогрессии. Я принялся также ради забавы искать квадратуру круга, пока сам не начал верить, что эта невыполнимая задача может быть решена. Тогда я спохватился, что недалеко от безумия, бросил это занятие, хотя, уверяю вас, то была большая жертва с моей стороны, так как данное умственное упражнение было прекрасным средством убивать время.

Мысленно я представлял себе шахматную доску и играл за обе стороны длинные партии. Но когда я приобрел опыт в этой зрительной

игре памяти, упражнение опротивело мне, так как в нем не было действительного соперничества. Я пытался, и пытался безрезультатно, расщепить свою личность на две и противопоставить одну другой. Я все же оставался одним игроком, который не мог придумать хитрости для одной стороны, чтобы другая тотчас же не узнала о ней.

А время тянулось очень медленно и скучно. Я затеял игру с мухами, с обыкновенными домашними мухами, проникавшими в одиночку вместе с тусклым серым светом, и узнал, что с ними очень даже возможно играть. Например, лежа возле дверей камеры, я провел произвольную воображаемую линию вдоль стены, около трех футов над полом. Если они сидели на стене выше этой линии, я их не трогал. Но как только они садились на стену ниже линии, я пытался поймать их. Я старался не раздавить их, не помять их крылья, и с течением времени они очень точно усвоили, где находится воображаемая линия. Если они хотели играть, то садились ниже ее, и часто та или иная муха приглашала меня играть. Когда она уставала, то садилась на безопасную территорию выше условной линии.

Около дюжины мух жило со мной, и только одна не хотела принимать участия в игре. Поняв, чем грозит пребывание на стене ниже линии, она тщательно избегала запретной территории. Эта муха была угрюмым созданием. Она никогда не играла с другими мухами. Она была сильна и здорова, — я долго изучал ее и знал это. Ее нерасположение к игре следовало из ее темперамента, а не из ее физического состояния.

Поверьте мне, я знал всех своих мух. Я удивлялся тому, что научился видеть такое множество отличительных черт в них. О, каждая резко индивидуальна не только по своей величине и приметам, силе и скорости полета, по манере полета и игры, уверткам и стремительности. Они также резко отличались в мельчайших проявлениях ума и характера.

Я знал нервных и флегматичных мух. По размеру они были чуть меньше среднего и летали очень быстро, как от меня, так иногда и от других мух. Видели ли вы когда-нибудь жеребенка или теленка, скачущего, как безумный, с бьющей через край живостью и стремительностью? Вот и у меня была одна такая муха, — самый смелый игрок из всех, между прочим, — которая, три или четыре раза подряд сев на мою запретную стену и успев каждый раз увернуться от

осторожного взмаха моей руки, торжествуя, приходила в такое возбуждение, что взмывала стрелой возле моей головы, кружилась, металась, опрокидывалась, всегда держась в границах того круга, где по правилам я не мог ее достать.

Я мог заранее предугадать, когда та или иная муха захочет начать игру. Я не стану утомлять вас описанием мелочей, которые мне приходилось наблюдать, хотя эти мелочи помогли мне не погибнуть от скуки в первый период моего одиночества. Об одном только хочу я поведать вам, о том, что мне особенно памятно: однажды угрюмая муха, которая никогда не играла, села в минуту забывчивости на запретную территорию и была немедленно мною схвачена. Знаете ли, она потом дулась целый час.

А часы тянулись очень медленно в одиночке. Их нельзя было все скоротать во сне или игре с мухами. Потому что мухи — это только мухи, а я человек, с человеческим мозгом, образованным и деятельным, со множеством научных и других познаний, склонным к напряженному и вдохновенному труду. Ему было нечем заняться, и мои мысли сосредоточивались в бесполезных размышлениях. Так, я думал о своих опытах с виноградом, которым я посвятил мои последние летние каникулы в виноградниках Асти. Я почти закончил эти исследования. И я спрашивал себя, продолжает ли их кто-нибудь, и если продолжает, то с какими результатами?

Как видите, мир погиб для меня. Никакие новости не проникали оттуда. История науки обогащается ежедневно, а я интересовался тысячью вопросов. Например, я создал теорию гидролиза казеина с помощью трипсика, которую профессор Уолтер проверил потом в своей лаборатории. Подобным же образом профессор Шлеймер сотрудничал со мной, пытаясь обнаружить фитостерин в смеси животных и растительных жиров. Эта работа, конечно, ведется и сейчас, но с какими результатами? Одна мысль обо всей этой деятельности за тюремными стенами, в которой я не мог принимать участия и о которой мне никогда не суждено даже услышать, сводила меня с ума. А тем временем я лежал у дверей камеры и играл с прирученными мухами.

Однако в одиночке отнюдь не царила полная тишина. С первых дней своего заключения я различал слабый, тихий стук с неправильными промежутками. Затем стал слышать его уже

явственнее. Этот стук постоянно прерывался окриком тюремщика. Однажды, когда стук был слишком настойчив, дежурные надзиратели вызвали других, и по долетавшему до меня шуму я понял, что на кого-то надели смирительные рубашки.

Легко можно было объяснить, в чем дело. Я знал, как и все заключенные в Сен-Квентине, что в одиночках содержатся Эд Моррелл и Джек Оппенхеймер. И ясно было, что эти двое общались, перестукиваясь, и были за это наказаны.

Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, чрезвычайно прост, и однако посвятил много часов его раскрытию. Он не мог быть не прост, но мне не за что было ухватиться. Я позже убедился в его простоте; и еще проще оказалась применяемая ими уловка, которая все сбивала меня с толку. Они не только каждый день меняли букву алфавита, с которой начинался ключ, но меняли ее в каждом разговоре и часто даже посреди разговора.

Итак, настал день, когда я открыл ключ, угадав правильно начальную букву, внимательно прислушался к двум ясным фразам из разговора, но когда они стали продолжать беседу, я снова не смог понять ни одного слова. Но сперва все-таки понял!

— Скажи... Эд... что... бы... ты... дал... теперь... за... кусочек... бумаги... и... за добрую... порцию... табака? — спросил тот, чей стук доносился издалека.

Я чуть не вскрикнул от радости. Здесь было общение, было товарищество! Я внимательно прислушался, с большим нетерпением, и ближайший сосед, которого я считал Эдом Морреллом, ответил:

— Я согласился бы... на... двадцать... часов... в... смирительной рубашке... за... пакетик... в пять... центов...

— Моррелл! Прекрати!

Со стороны может показаться, что хуже приговора к пожизненному одиночному заключению ничего не может быть и что поэтому у тюремщика нет средств заставить нас себе повиноваться. Но остается смирительная рубаха, остаются голод и избиения. Действительно, человек, заключенный в тесную камеру, очень беспомощен.

И перестукивание прекратилось, а когда оно возобновилось ночью, я снова насторожился. По предварительному соглашению они изменили начальную букву ключа. Но я уловил его суть, и через

несколько дней они снова использовали начальную букву, которую я понял. Я не стал церемониться и простучал:

— Привет!

— Привет, незнакомец, — ответил Моррелл, а Оппенгеймер добавил: — Добро пожаловать.

Им было любопытно знать, кто я такой, на какой срок приговорен к одиночке и за что. Но все это я оставил пока без ответа, желая сперва изучить их систему изменения начальной буквы шифра. Когда я это выяснил, мы стали разговаривать. Это был великий день, потому что двое пожизненно заключенных приняли третьего, хотя пока лишь на испытательный срок. Как они мне впоследствии рассказывали, они боялись, что я могу быть доносчиком, подсадной уткой. Один такой уже сидел с Оппенгеймером, и тот дорого заплатил за доверие, оказанное шпиону Азертону.

К моему удивлению, им обоим была известна моя репутация неисправимого. Даже в ту живую могилу, в которой в течение десяти лет лежал Оппенгеймер, проникли отголоски моей славы.

Мне нужно было многое рассказать им о случившемся в тюрьме и в мире за ее стенами. Попытка побега сорока пожизненно заключенных, поиски воображаемого динамита, вероломное подстрекательство Сесила Уинвуда, — все было для них новостью. Как они мне поведали, новости случайно просачивались к ним через надзирателей, но за последние два-три месяца они почти ничего не слыхали. Дежурившие ныне надзиратели были особенно злыми и мстительными.

Не один раз за этот день нас проклинал за перестукивание тюремщик, но мы не могли удержаться. Двое заживо погребенных получили третьего товарища, и нам нужно было так много сказать друг другу, и самый способ разговора отличался столь раздражающей медлительностью, а я к тому же не был так искусен в перестукивании, как они.

— Подожди, пока не сменится на ночь Горошина, — сказал мне Моррелл. — Он спит почти всю смену, и мы сможем поговорить вволю.

Как долго мы разговаривали этой ночью! Сон как рукой сняло. Джонс по прозвищу Горошина был низким и злым человеком, несмотря на свою полноту; но мы благословляли его полноту, потому

что она нагоняла на него сонливость. Тем не менее наше непрерывное перестукивание не раз будило его и раздражало, так что он не единожды сделал нам замечание. А другие ночные надзиратели непрерывно бранились. Наутро начальству было доложено о нашем непрерывном перестукивании, и мы поплатились за свой небольшой праздник, потому что к девяти часам явился капитан Джеми с несколькими тюремщиками, чтобы надеть на нас смирительные рубашки. До девяти часов следующего дня, целых двадцать четыре часа, связанные и беспомощные, без пищи и воды, мы расплачивались за разговор.

О, наши надзиратели были настоящими животными! И их жестокое обращение должно было превратить нас в диких зверей для того только, чтобы выжить. Грубая работа делает грубыми руки. Грубые тюремщики делают грубыми заключенных. Мы продолжали наше общение, и то и дело в наказание на нас надевали смирительные рубашки. Ночь была лучшим временем, и, когда дежуривший надзиратель дремал, мы часто беседовали на протяжении целой смены.

Ночь и день ничем не отличались для нас, живших в темноте. Мы могли спать в любое время, перестукиваться же только от случая к случаю. Мы рассказывали друг другу о событиях наших жизней, и долгие часы Моррелл и я молча внимали Оппенхеймеру, который спокойно, не спеша рассказывал нам историю своей жизни, начиная с детства, проведенного в трущобах Сан-Франциско, с посвящения в порок, когда, четырнадцатилетний мальчишка, он работал ночным посыльным в квартале красных фонарей и впервые попал в лапы полиции; он рассказал обо всех кражах и разбоях и о предательстве товарища и кровавом расчете в тюремных стенах.

Джека Оппенхеймера прозвали Человек-Тигр. Какой-то юркий репортер придумал эту кличку, которая надолго переживает человека, ее носившего. И тем не менее я всегда находил в Джеке Оппенхеймере все главные черты истинной гуманности. Он был честен и прямодушен. Нередко он предпочитал наказание доносу на товарища. Он был храбр, терпелив, способен на самопожертвование; я мог бы рассказать об этом, но у меня нет времени. А справедливость была его страстью. Убийство, совершенное им в тюрьме, было вызвано исключительно его крайне развитым чувством справедливости. Он

обладал блестящим умом. Пожизненное тюремное заключение и десять лет, проведенных в одиночке, не затуманили его рассудок.

Моррелл, тоже надежный товарищ, также отличался недюжинным умом. Действительно, я, находясь на пороге смерти, имею право сказать, не боясь обвинений в нескромности, что три лучшие головы в Сен-Квентине принадлежали нам троим, гнившим бок о бок в одиночных камерах.

И вот, к концу моих дней, оглядываясь на весь свой жизненный опыт, я пришел к заключению, что сильные умы никогда не бывают покорными. Глупцы, трусы, люди, не одаренные страстным чувством справедливости и бесстрашием борца, — вот из кого получают образцовые арестанты. Я благодарю всех богов за то, что Джек Оппенхеймер, Эд Моррелл и я не были образцовыми арестантами.

Глава VI

Способность забывать — это свойство здорового мозга. Неотвязная память о прошедшем ведет к страданию, сумасшествию. С этой задачей забвения я столкнулся лицом к лицу в одиночке, где беспрестанные воспоминания боролись за власть надо мной. Иногда, забавляясь с мухами, или играя в шахматы сам с собой, или перестукиваясь с товарищами, я находил частичное забвение. Но я желал забвения полного.

Посещали меня и детские воспоминания о других временах и местах... Неужели мальчик безвозвратно утратил их, став мужчиной? Могут ли они быть совершенно уничтожены? Или эти воспоминания о других местах и временах всегда лишь дремлют, замурованные в одиночных камерах мозга подобно тому, как я замурован в камере Сен-Квентина?

Бывает, что осужденные на пожизненное одиночное заключение, получив помилование, возрождались к жизни, снова лицезрели солнце. Так почему же не могут воскреснуть эти воспоминания детства о других мирах?

Но как? По моему мнению — достижением полного забвения того, что случилось в зрелом возрасте.

Но как этого добиться? Быть может, с помощью гипноза. Если гипнозом усыпить сознательный разум и пробудить подсознательный, тогда задача будет решена, тогда распахнутся широко двери умственной тюрьмы и узники выйдут на солнечный свет.

Так я рассуждал — и вы увидите, с каким результатом. Но сначала я должен рассказать о моих детских воспоминаниях о другом мире. Я погружался в облака славы, озарявшей меня в былые времена. Как и другие дети, я жил среди призраков каких-то других существ, являвшихся ко мне из иных времен. Это происходило в те дни, когда я становился самим собой, до того, как множество изменчивых характеров затвердели в форме определенной личности, которая стала известна людям на немногие годы как Даррел Стэндинг.

Позвольте мне рассказать один случай. Это произошло в Миннесоте на старой ферме. Мне было около шести лет. Один миссионер, вернувшийся из Китая в Соединенные Штаты и посланный миссионерским советом собирать пожертвования среди фермеров, остановился на ночь в нашем доме. Это случилось в кухне как раз после ужина, когда моя мать помогала мне раздеться перед сном, а миссионер показывал нам фотографии Святой земли.

То, что я вам сейчас расскажу, я давно бы забыл, если бы не слышал, как мой отец неоднократно пересказывал этот эпизод удивленным слушателям.

При виде одного из снимков я вскрикнул, стал рассматривать его сперва жадно, а затем разочарованно. Он сначала показался мне чем-то очень знакомым, словно это была фотография отцовского сарая, но затем он стал странным и чуждым. Однако я продолжал рассматривать снимок, и ощущение близкого знакомства снова вернулось ко мне.

— Башня Давида, — сказал миссионер моей матери.

— Нет! — уверенно воскликнул я.

— Ты думаешь, она не так называется? — спросил миссионер.

Я кивнул головой.

— А как же, мальчик?

— Она называется... — начал я и жалобно закончил: — Я забыл. Она выглядит теперь не так, как раньше, — продолжил я после небольшой паузы.

Тут миссионер протянул моей матери другой снимок.

— Вот здесь я был шесть месяцев тому назад, мистрис Стэндинг. — Он указал пальцем. — Вот ворота в Яффу, через которые я входил, справа на заднем плане башня Давида, а здесь, смотрите — Эль Кула, как она называлась...

Но тут я снова перебил его, показывая на развалины в левом углу фотографии.

— Где-нибудь тут, — сказал я. — Тем именем, которое вы только что произнесли, называли ее евреи, но мы называли ее как-то иначе. Мы называли... Я забыл.

— Послушайте-ка малыша, — засмеялся отец. — Можно подумать, что он был тут собственной персоной.

Я кивнул, потому что не сомневался, что бывал здесь, хотя все казалось удивительно изменившимся. Мой отец рассмеялся еще

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ